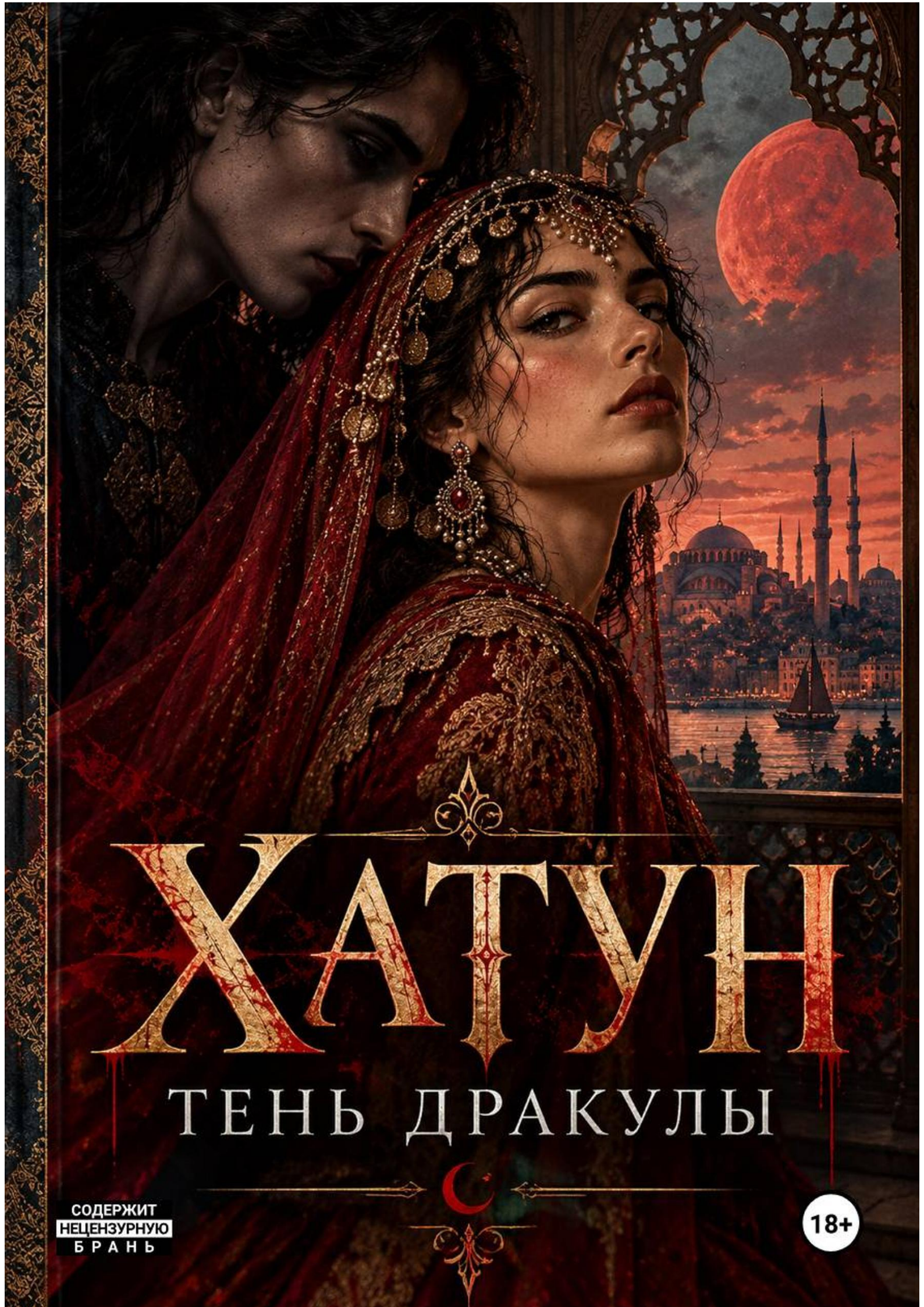

ХАТУН
ТЕНЬ ДРАКУЛЫ
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Ольга Гоуст

Хатун. Тень Дракулы

«Автор»
2026

Гоуст О.

Хатун. Тень Дракулы / О. Гоуст — «Автор», 2026

Мне было восемнадцать. Мой брат Мехмед два года как взял Константинополь, а я узнала, что умею ходить по чужим снам.Валашских княжичей при дворе брата было двое. Младший, Раду, писал мне стихи и считал мой дар болезнью, от которой меня надо вылечить. Старший, Влад, приходил ко мне во сны и не скрывал зачем.Я выбирала каждого из троих по очереди и каждого предала. Из тюрьмы моего брата Влад вышел уже не человеком. Я помогла ему сбежать. Через шесть лет он посадил моего мужа на кол. Самый высокий кол из всех.

© Гоуст О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава 1. Вода под полом 7
Глава 2 11
Глава 3 16
Глава 4 20
Глава 5 24
Глава 6 28
Глава 7 32
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Ольга Гоуст
Хатун. Тень Дракулы

Пролог

Старый дворец. Июнь 1462

Сегодня ночью ты мне снился, Влад. Во сне я смотрела твоими глазами и держала твоими пальцами рукоять меча, обмотанную ремнём, сырым от росы. Ты вёл своих людей на лагерь моего брата, султана Мехмеда. Брат стоял с войском за Дунаем, в Валахии, на твоей земле.

Вышли вы, когда кончалась первая стража ночи. Шаг у тебя был длиннее моего, и всю дорогу я не поспевала за твоими ногами. Темно было так, что землю я узнавала по шагу: сначала мокрая трава, потом трава, вытоптанная до глины, в которой вязли сапоги, потом нога поехала, и понесло свежим конским навозом. Лагерь брата пах остывшими кострами и скотиной и спал. Справа и слева шли твои люди, плечо к плечу, без зазора. Чужое плечо на каждом шаге толкало твоё, а значит, и моё. Впереди, там, куда нам было бить, подняли факелы, протрубил рог, и весь строй, не размыкаясь, повернул на его голос и пошёл быстрее. Лагерь проснулся криком. Верблюд с распоротым боком опустился перед тобой на колени, вытянул шею по земле, и ты через неё перешагнул. Ты шёл к шатрам моего брата, чтобы его убить. Полотно разошлось под клинком сверху донизу. Из жёлтого света выскочили босые бородатые люди в нижних рубахах, один закрывал голову локтями. Мехмеда среди них не было. Что было дальше, я не знаю: тут я проснулась.

Над верхней губой у меня мокро. Что это, я знаю раньше, чем подношу пальцы: кровь идёт носом, тонко, без боли. После таких снов она у меня идёт всегда. На наволочке три пятна меньше ногтя, одно смазано — это я повернулась щекой, ещё не проснувшись. Я сажусь, запрокидываю голову и прижимаю к лицу край простыни. Кровь уходит в горло, я сглатываю её и жду, пока перестанет. Я ещё чую навоз и сырое полотно шатра, хотя здесь, в Стамбуле, в моей комнате, пахнет лампой и моими волосами. Наволочку утром унесут вместе с простынёй, и никто ни о чём не спросит. Окно открыто, ночь тёплая, до света далеко.

Там, за Дунаем, сейчас та же ночь, и бой ещё идёт. Чем он кончится и жив ли мой брат, не знает никто. Гонец оттуда ещё не выехал. Он сядет на коня, когда там сосчитают убитых, переправится через Дунай, будет загонять коней и брать свежих и через много дней въедет в Стамбул. Тогда мне расскажут, что было этой ночью в лагере. Половину я уже видела сама, раньше гонца и раньше всех в городе. Другую половину не досмотрела. Я загибаю пальцы, считаю, сколько дней ему скакать до Стамбула, сбиваюсь и начинаю снова. Спать я больше не ложусь.

Хамза-бей был моим мужем. Ты посадил его на кол, выше всех остальных, и в двадцать пять лет я вдова. Шесть лет я тебя не видела, Влад. Сегодня тоже не видела, потому что во сне смотрела твоими глазами. Говорят, за эти шесть лет ты совсем не постарел.

Началось всё семь лет назад, весной 1455 года, в этом же дворце. Мне было восемнадцать. Хамза-бей ещё не был мне мужем. Тебя я не знала даже по имени. Как-то утром из моих сундуков вынимали бельё и каждую штуку смотрели на свет.

Глава 1. Вода под полом

Старый дворец. Март 1455

В то утро Дайе, как всегда, лежала поперёк моего порога, снаружи, под навесом галереи, укрытая с головой, и выйти, не перешагнув через неё, было нельзя. Дайе была кормилицей брата, султана Мехмеда, и старшей над всеми женщинами в этом дворце. У моей двери она спала с тех пор, как мне исполнилось семь, а в ту весну мне было уже восемнадцать. Меня берегли для мужа и для чести брата: сестре султана до свадьбы не полагалось показываться чужим мужчинам. Я ещё стояла в дверях и решала, перешагивать или нет, когда она откинула покрывало и села. Заспанной я её не видела ни разу: глаза у неё сразу были ясные, будто она всю ночь пролежала без сна и слушала мою дверь.

— Сундуки, — сказала Дайе.

Ночью опять лило. В сундуках, по её словам, завелась сырость: мой павильон стоял стена к стене со старым крылом, под полом который день ходила вода, и всё, что лежало у той стены, взялось затхлым духом. В сундуках было моё приданое. Его собирали, сколько я себя помнила, понемногу, по одной вещи, а все шесть разом до того дня не открывали ни разу. Служанки вынесли их на галерею, к проёму, где было светло и куда не захлёстывал дождь. В дальний конец, где дверь в старое крыло давно заложили камнем, их не понесли: кладка там отсырела и потемнела. Одна служанка поднимала вещь к свету, другая смотрела на просвет: нет ли дыр от моли, не протёрлось ли на сгибах, не пошла ли по шву зелень. Простыни, наволочки, полотенца с вышитыми концами, рубашки. Одну рубашку я не помнила совсем. Кисея была такая тонкая, что сквозь неё проступали пальцы служанки, а за пальцами мокрый двор. Такую шьют на первую ночь с мужем. Мужа мне до свадьбы не покажут, меня ему тоже, и впервые он увидит меня в ней. Я протянула руку потрогать край. Служанка посмотрела не на меня, а на Дайе, и рубашку мне не дала.

Ночные рубашки Дайе смотрела сама. Разворачивала по одной, подносила к проёму, вела глазами по подолу, по рукавам, по вороту, потом выворачивала и смотрела изнутри, дольше, чем смотрят на моль. Складывала и брала следующую. Что она там искала, я не знала. Так она всю жизнь смотрела на всё моё: на ногти, на шитьё, на служанок.

— Это брат велел их перебрать? — спросила я.

— Нитку сушат, пока не сопрела. Эту к свету. Выше.

— Мехмед что-нибудь писал?

— Хлеб считают, когда вынут из печи. Полотенца отдельно.

Так Дайе отвечала всегда, когда отвечать не хотела: присловьем, а следом приказом служанкам. На этом разговор кончался. Но про хлеб я поняла. Хлеб считают, когда он готов, а пока он в печи, о нём молчат. Выходило, что брат уже решил, за кого меня отдать, только объявлять было рано. Знала ли Дайе, за кого, по её лицу было не понять. Спроси я в третий раз, я услышала бы третье присловье.

После полудня Дайе осталась на галерее, а Анна мыла мне голову в комнате. Анна была из моих служанок, гречанка. Жаровню придвинули к тазу, ставни прикрыли, и всё равно из-под двери тянуло холодом по щиколоткам.

— Госпожа хорошо спала? — спросила Анна, засучивая рукава.

— Хорошо.

Она лила мне на затылок из кувшина воду горячее, чем надо, и я ей этого не сказала. Мыло пахло лавром; Анна растирала его ото лба к макушке сильными пальцами, не жалея

кожи. Мокрые волосы тянули голову вниз, к тазу, держать её приходилось одной шеей, и шея ныла, и мне это нравилось. Пар поднимался от таза и оседал у меня на ресницах. Когда Дайе на галерее заговорила с кем-то в голос, Анна наклонилась к самому моему уху. С её локтей капало в таз.

— На кухне говорят. Евнухи сказали повару, а повар нам. Вас отдадут замуж за Хамзу-бея, который у султана соколами ведает. Немолодой, госпожа.

Я спросила, сколько у него соколов. Анна не знала. Тогда я спросила, сам ли он их кормит, и этого она тоже не знала. Про него самого Анна больше ничего не слышала. А по птицам видно, какой хозяин. В Эдирне я однажды видела, как сокольник нёс птицу через двор на кулаке: глаза ей закрыли колпачком, и она сидела смирно и поворачивала голову на каждый звук, на хлопнувшую дверь, на мой смех. Я закрыла глаза, как та птица, и велела лить ещё.

Потом Анна чесала мне волосы у жаровни, прядь за прядью, от концов к корням, пока они не начали подсыхать. Девушки, рассказывала она, которую ночь не спят: под старым крылом ходит вода, а турчанки говорят, что это джинны. Я эту воду тоже слышала, каждую ночь, пока не засыпала.

— А ты что говоришь?

— Я говорю, это одна Панагия знает, Матерь Божья. — Гребень застрял, она вынула его и снова повела от концов. — Под городом дворцы есть, госпожа. Под землёй. Колонны стоят, много, как в лесу деревья, и вода между ними чёрная. Бабушка говорила. Когда турки брали город, люди туда спускались, с лампами, с хлебом, сидели в темноте и ждали.

— И вышли?

— Кто вышел, а кто нет.

— А с теми, кто не вышел, что?

— Не знаю, госпожа.

— Знаешь.

Гребень остановился у меня на затылке и долго не шёл дальше. Тут я вспомнила: своих Анна потеряла два года назад, в тот самый день, когда турки взяли город. Её увели одну, без них, и с тех пор она ничего о них не слышала.

— Я спрошу брата про твоих, — сказала я. — У него записано, кого куда увели.

Имён я не спросила.

— Спасибо, госпожа, — сказала Анна и, не спросив когда, повела гребень дальше. — А у тех, внизу, масло в лампах кончилось. В темноте лестницу не найти, а колонн много, все одинаковые. Так там и умерли. И до сих пор стоят.

— Стоят? Не лежат?

Анна перекрестилась мелко, быстро, рукой с гребнем, думая, что я не вижу. Я видела её в медном боку кувшина.

— Стоят. Так говорят. Вода по грудь, держит, упасть не даёт.

К вечеру бельё сложили обратно, кисейную рубашку на самое дно, и сундуки поставили на прежнее место, к той же стене. Стемнело рано. Дайе сама расстелила тюфяк поперёк порога, села на нём лицом к двору и прочла аят аль-Курси, вполголоса и скоро, как читают то, что знают с детства. Этот аят читают на ночь, чтобы не подступили джинны. Я узнала его с первых слов и шевелила губами следом, пока Анна заплетала мне на ночь косу. Дочитав, Дайе позвала из-за двери Анну тем именем, которое ей дали во дворце:

— Дильруба.

Анна сразу завязала косу, пожелала мне доброй ночи и ушла к служанкам, переступив через край тюфяка, как переступала каждый вечер. Я задула лампу и легла. За дверью Дайе ворочалась, устраиваясь, потом затихла, а под полом шла вода, ровно, так же, как шла все эти ночи, и я лежала на спине и слушала её.

* * *

Сон не шёл. Дайе спала за дверью, на своём тюфяке поперёк порога, и я считала, сколько раз она вздохнёт. Сбилась на тридцати с чем-то и бросила.

Потом вода под полом пошла по-другому. Сначала зашумела громче, будто где-то подняли заслонку. Потом стала ближе, под самой постелью. Шла она теперь не ровно, как все эти ночи: набегала, откатывала и снова набегала. Я села. Снизу, сквозь доски, тянуло холодом. Один раз там, под полом, что-то тяжело перевалилось с боку на бок, как ворох мокрого белья в чане, когда прачка ворочает его палкой.

Я ждала, что закричат служанки. Они которую ночь не спали из-за этой воды, и теперь, думала я, выскочат во двор с визгом и станут звать Аллаха. Никто не закричал. Дайе за дверью даже не шевельнулась.

Тогда я решила пойти и узнать сама. Анна говорила, что вода ходит под старым крылом, а дверь в него была тут же, в конце нашей галереи, заложенная камнем. Приложу ухо к кладке и послушаю, что там шумит. Утром служанки будут шептаться у колодца, турчанки опять скажут про джиннов, Анна опять тайком перекрестится. А я буду знать, что там на самом деле. Одна я. Мне так этого хотелось, что горели ладони.

Выйти можно было только через Дайе. Перешагну через край тюфяка, как Анна вечером, подумала я. Дайе весь день провозилась с сундуками, её даже вода не разбудила. А проснётся — скажу, что испугалась воды.

Как я встала с постели, открыла дверь и перешагнула через Дайе, я не помню. Только что я сидела и прикидывала, как буду выбираться, а следующее, что помню, — я уже снаружи. Под ногами мокрые доски галереи, дверь у меня за спиной закрыта, у ног спит Дайе, укрытая с головой. Я постояла, попробовала вспомнить и не смогла. Стоять над Дайе было нельзя: проснётся.

Лампа осталась в комнате. Возвращаться за ней значило перешагивать через Дайе ещё раз, и я пошла в темноте.

Навес над галереей почти не спасал: дождь заносило сбоку, он бил мне в правое плечо и в бедро. На мне была полотняная ночная рубашка, одна из тех, что Дайе днём смотрела на свет. Она намокла сразу и облепила мне грудь и живот так, что я была в ней всё равно что голая. Коса тоже намокла и тянула голову назад.

Доски были холодные и скользкие. Я шла и вела рукой по стене. Сначала по своей, гладкой, побелённой. Потом пошла шершавая, пальцы цеплялись за швы между камнями: тут начиналось старое крыло. Двор шумел справа, пахло раскисшей землёй и мокрой золой откуда-то от кухонь. Днём за мокрый подол Дайе погнала бы меня переодеваться и сказала бы, кто будет за мной ходить, когда я сляжу. Сейчас подол лип к коленям, а видеть было некому. Меня трясло от холода, а мне было весело: ни разу в жизни мне не давали так замёрзнуть.

Чем ближе к концу галереи, тем сильнее тянуло холодом по ногам. Днём из-под моей двери тянуло так же, только слабее.

Галерея кончалась той самой заложенной дверью. У неё я наступила на камень. Он качнулся под ступнёй. Рядом нашёлся второй, а между ними на досках хрустела сухая острая крошка от раствора. Я присела и стала шарить руками. Днём тут было чисто. Теперь на досках неровной грудой лежали камни, будто кладку выдавило наружу, на галерею.

Я потянулась к кладке. На высоте колена рука ушла в пустоту: в кладке была дыра. Я ощупала края: камни торчали неровно, раствор на изломе сыпался под пальцами. Трогала я осторожно, чтобы не ободрать ладонь. Дыра была такая, что пролезть в неё можно было только на четвереньках.

Из дыры тянуло холодом, мокрым камнем и чем-то ещё. Я сунулась туда лицом и долго нюхала, как собака, но так и не поняла, чем пахнет.

Там, за стеной, глубоко внизу, шла вода. Та самая, которую я слышала из постели, только здесь каждый плеск о камень был слышен отдельно, и после каждого долго гудело, как в бане под куполом. Места внизу было много, куда больше, чем в моей комнате.

Я стояла на коленях. Ступни у меня были в чём-то скользком. Я потёрла одну о другую. Ил, холодный, жирный, он лез между пальцами. Натекло со двора, подумала я, двор совсем раскис.

Мне было так страшно, что свело живот и пальцы на ногах сами поджались в иле. Умнее всего было встать и тихо вернуться к Дайе. Я не встала.

Я навалилась на кладку и сунула руку в дыру по самое плечо. За стеной была пустота, холодная и мокрая, пальцы до воды не доставали. Близко, почти под самой рукой, в воде тяжело повернулось что-то большое.

Глава 2

Пролом был узкий, лезть пришлось на четвереньках. Кладка цепляла рубашку на спине, за ворот сыпалась крошка. Стена оказалась толстая, в два моих локтя, а за ней под ладонями сразу стало пусто.

Я легла на живот, свесила руку вниз и опять ничего не нашла, один холод. Тогда я стала шарить вбок, вдоль стены. На шаг левее пролома рука наткнулась на камни. Они лежали горой, верхом почти вровень с дырой: битый кирпич, комья раствора, что-то плоское и широкое, вроде плиты от пола.

Я перебралась на эту гору боком и поползла вниз задом, на руках и ягодицах, будто мне пять лет. Камни были мокрые, острый край одного упёрся мне в колено. Каждый я сначала трогала ладонью и ждала, что он поедет вместе со мной. Ноги находили опору легче, чем я думала.

Я была на середине, когда на той стороне загорелся свет.

Факел. Его вынесли из низкой дыры со сводом в стене напротив, и там он встал. Огонь чадил. В воде под ним горел второй такой же, вверх дном, и дрожал.

Я застыла как была, задом вниз, одна рука за спиной. Факел мог держать только мужчина: женщине тут ночью делать нечего. Мне тоже. Сестру султана в одной мокрой рубашке не видит никто. Если этот увидит, меня опозорят, а он не доживёт до вечера. Это мне с детства твердили все, от Дайе до евнухов.

А смотреть мне хотелось. Кто он и что ему тут надо посреди ночи? За огнём человека видно не было, только свет, и это меня злило: всю жизнь я видела чужих мужчин через решётку, а этого не видела даже так.

Зато при этом свете я увидела, куда залезла. Места было много, это я слышала ещё наверху, но думала, тут яма вроде погреба: грязь и мокрый камень. А внизу лежала чёрная вода, шире нашего двора. Другой берег я угадывала только по факелу. Правее той дыры торчала большая труба, и из неё с шумом валила вода. Стену возле огня кто-то гладко обмазал, она отсвечивала красным. Свод я заметила, только когда задрала голову: кирпич ряд к ряду, через всю эту воду. Анна говорила, под городом колонны стоят, много, как в лесу деревья.

Колонн не было. Ни одной.

Свет доставал и до меня, а рубашка на мне была белая. Я поползла ниже, к стене, где темнее. Камни скоро кончились, пятки нащупали ровный тёсаный край: ступени. Они уходили вниз, в воду. Я села на одну и сразу съехала задом на следующую, такая на ней была слизь. Вода плескала у самых пяток, зато тут была тень: огонь светил выше, в свод.

Его я заметила поздно, потому что он не шевелился. Он стоял у нижних ступеней, в воде по грудь, в двух шагах от меня, спиной. Вода вокруг него лежала гладко, как будто он там давно.

Вот тут мне стало страшно по-настоящему. Наверх нельзя, там свет. А здесь он.

Потом он повернулся, весь сразу, вместе с плечами. Голова у него была голая, ни волоса, ни бороды, круглая и серо-белая, как тесто, которое забыли под тряпкой. Кожа на лице разбухла и висела у рта мягкими складками. Глаза затянуло мутной плёнкой. Зрачков я при таком свете не разглядела, может, их и не было. С плеч в воду свисало тёмное тряпьё, когда-то, наверное, одежда.

Запах из пролома шёл от него. Теперь я знала, что это: стоячая вода и падаль, которая долго в ней пролежала. Так пахла собака, которую в Эдирне достали из колодца у кухни. Она гнила там неделю, повара потом весь день ходили блевать за стену.

Он открыл рот. Хрипел и булькал, будто в горле у него тоже стояла вода. Говорил он по-гречески, тянул слова, как читают над покойником. Одно сказал два раза подряд, его я и поймала: «палин». Опять. Анна так ворчала по утрам, когда с неба снова лило.

Я сказала шёпотом:

— Пошёл вон.

Так я гнала из комнаты служанку, которая уронила гребень. Он не ушёл.

На той стороне факел качнулся и пошёл. Не обратно в дыру: вдоль стены, низко над водой, по чему-то, что пряталось в тени. Отражение шло за ним. Сюда. Ко мне? К этому? Я подобрала ноги.

Подобрала не до конца. Пальцы из воды взяли меня за щиколотку, холодные и мягкие, а держали крепче, чем держит Дайе. Он дёрнул. Я съехала по ступеням на спине, руки скользнули по камню, ухватиться было не за что.

Вода сомкнулась над головой. Ледяная, она шла в нос и в рот, я хлебнула её, тухлую, хотела крикнуть и хлебнула снова. Рубашка задралась и вздулась вокруг меня пузырём, коса тянула голову вбок. Он тащил меня вниз и в сторону, ровно, без рывков. Над водой ходило красное пятно света, то ближе, то дальше.

Потом пальцы на щиколотке разжались. Почему, я не видела. Я забила руками к свету, рубашка облепила ноги.

Кто-то поймал мою косу, намотал на кулак и рванул вверх.

* * *

Вода шла из меня носом и ртом. Я лежала боком на ступенях, щекой в слизи, кашляла, пока не вырвало. Вырвало тоже водой. Кожу на голове жгло там, где рванули за косу. Вдохнуть до конца не получалось: в груди что-то булькало, как у того.

Он стоял ниже, по колено в воде, факел держал низко. Тот, в воде, никуда не делся: держался у края ступеней, по грудь, на прежнем месте, и ближе не шёл. Огонь был между нами. Голую голову от него воротило вбок. Вот, значит, отчего разжались пальцы.

Человек с факелом что-то ему сказал. По-гречески, это я разобрала, а слов не поймала: два или три, коротко, так говорят собаке «место». Потом шагнул и поднёс огонь к самому лицу. Тот отвернулся и сел в воду, медленно, будто в баню. Вода закрыла плечи, рот, голову, по ней пошли круги.

Человек сказал в эти круги ещё одно слово, сквозь зубы. Это был не греческий. И не наш. Такого языка я не слышала ни от кого.

Меня тот не послушал. Этого послушал сразу, с двух слов. Мне стало жутко и хорошо разом. Тот, кто только что тащил меня за косу на дно, сидел теперь под водой тихо, как велено.

Огонь повернулся ко мне.

Рубашка на мне была мокрая насквозь и при огне ничего не прятала: ни грудь, ни живот, ни тёмное между ног. Вот тут мне стало стыдно. Кто я, кто он, что за это бывает — вспомнилось всё сразу. Я полезла наверх по осыпи на четвереньках, колени съезжали по кирпичу, хваталась я за что попало, лишь бы подальше от огня и от него. Левой рукой взялась за край плиты, подтянулась, ладонь поехала по ребру. Больно сначала не было. Потом стало горячо, и по запястью потекло. Кровь на битом кирпиче была чёрная.

— Фатьма, — сказал он снизу.

Без «хатун», без «госпожи». Так меня зовут брат и Дайе, больше никто. А этот, чужой, в яме под старым крылом, сказал моё имя так, будто звал меня им каждый день.

Я развернулась и села, прижала руку к животу.

— Ты кто такой?

Вышло сипло, горло драло после воды. Он поднялся на две ступени и перехватил факел повыше. Теперь огонь светил и на него.

Отвернуться надо было сразу. Я смотрела. Щёки у него запали, и лицо от этого казалось совсем узким. Бороды он не носил, одни чёрные усы, концами ниже подбородка. У нас в его годы так не ходят, только мальчишки. Мокрый кафтан облепил ему грудь и плечи, на них я смотрела дольше, чем на лицо.

— Хочешь знать имя того, кто видел тебя без покрывала? — сказал он. — Чтобы было кого назвать брату, когда спросит?

По-турецки он говорил чисто, но по-старому, как старики при дворе отца.

— Тебя за это убьют.

— Знаю.

— Откуда ты знаешь моё имя?

— Покажи руку.

— Ты не ответил.

— Не ответил. Руку.

Я не показала. Он поднялся ещё на ступень и взял её сам, за запястье, повернул ладонью вверх. Порез шёл наискось, от мизинца через всю ладонь, края разошлись. Кровь натекла в рукав.

— Вода здесь гнилая, — сказал он. — Ты вся в ней, рука тоже. От такой грязи умирают.

И приложился к порезу ртом.

Рот был горячий. Он потянул кровь, отвёл голову, сплюнул на камень и опять приложился. Губы держал на моей ладони долго, я чувствовала, как он глотает. Второй раз я не видела, чтобы он плевал. Хаким, который вскрывал мне нарыв на пальце, так не лечил.

Я его боялась. Я хотела, чтобы он не отпускал.

Он стоял на ступень ниже, на одном колене. Лицо его было как раз вровень с моей грудью. Ниже моих глаз он не посмотрел ни разу. Я следила всё время, пока он держал руку. Ждала. Не посмотрел. Это меня разозлило сильнее, чем то, что он видел.

Он загнул мне пальцы по одному, в кулак, и сжал сверху своей ладонью. Ладонь у него была мокрая и холодная.

— Держи так. Не разжимай.

Он отпустил. Ноги тряслись, но я встала и стояла, пока он не отступил на ступень вниз.

— Иди, — сказал он. — Я посвечу.

Я лезла наверх одной рукой, кулак держала у груди. Огонь шёл за мной снизу, моя тень ползла впереди по камням раскорякой. Каждый мокрый камень я пробовала, прежде чем встать. Он за мной не поднимался. Я слышала, как он стоит: ни шагов, ни плеска.

У пролома я обернулась. Он так и стоял у ступеней и держал огонь высоко, как тогда, на той стороне.

— Женщина у твоего порога укрывается с головой, — сказал он.

Про Дайе он знать не мог. Она спит под навесом на женской половине, мужчине туда ходу нет. А он знал, и как она лежит, тоже знал. Значит, стоял где-то ночью и смотрел на мой порог.

— Переступай со стороны ног. У головы услышит.

* * *

Рубашку я стянула у самого пролома, через голову, одной правой рукой. Мокрое полотно липло к спине, ворот зацепился за ухо, я дёргала, пока не сняла. Кровь в темноте была не видна, но я знала, где она: в рукаве и на животе, куда я прижимала руку. Ночные рубашки Дайе смотрела сама. Такую она нашла бы где угодно: в сундуке, под тюфяком, в золе жаровни.

Я легла на живот и влезла в дыру по пояс. Камень холодил голую грудь, огня внизу больше не было. Плита, по которой я лезла, была слева, на самом верху осыпи, и под её край пролезала рука. Я затолкала туда рубашку комом, сколько хватило руки, подпихнула ещё пальцами и долго лежала, слушала, не плеснёт ли внизу по-новому.

С навеса лило струёй, как из кувшина. Я встала под неё голая, вода била в темя и бежала по спине и по животу на доски. Зубы стучали, а мне хотелось смеяться. Я подставила под струю левую руку и отмывала её правой ладонью от запястья до локтя, а сама тёрла ступни одну о другую, пока между пальцами не перестало скользить. Кулак держала сжатым: кровь под ним уже не шла, только кисть затекла. Потом перекинула косу вперёд и полоскала, отжимала и снова подставляла. Волосы всё равно пахли той водой, или мне так казалось.

Дайе лежала поперёк порога, укрытая с головой, ногами ко мне. Я остановилась над её ступнями, мокрой пяткой у самого одеяла. Задержала вдох и перешагнула через неё у ног, как он велел. С колена ей на ноги сорвалась капля, потом ещё одна. Дайе не шевельнулась. А я злилась до самой постели: с какой стати мне слушать мужчину, которого я даже по имени не знаю.

В комнате было черно. Я нашла ощупью ближний сундук у стены, подняла крышку, нашарила сверху сложенное полотно и по вороту узнала ночную рубашку. Своё бельё я брала сама впервые. Полотенце со вчерашнего мытья висело на краю таза, ещё влажное. Я отжала в него косу одной рукой, легла на кулак и уснула сразу, без снов.

Разбудил меня голос Дайе с галереи:

— Шафрана сюда. И лампу.

Служанки высыпали из своих комнат кто в чём. Шафран, чёрный евнух нашего павильона, прибежал в одной туфле, вторая осталась в грязи посреди двора. Он встал у кладки на колени, сунул лампу в дыру и долго не вынимал. Меня мутило от страха. Я стояла у своей двери и ждала, что он пошарит рукой влево, под плиту, и вытащит оттуда мою рубашку.

— Вода, — сказал он Дайе и отряхнул колени. — От дождей поднялась, хатун, и выдавила. Камни-то все сюда легли.

Камни и правда лежали на досках с нашей стороны, там же, где ночью.

— Госпожа ночью ничего не слышала? — спросил он меня.

— Воду слышала. Испугалась, лежала. Никуда не выходила.

Врать оказалось легко, легче, чем я думала. Ответ я придумала ещё вечером, на случай если проснётся Дайе. Да и кто он такой, евнух, чтобы я перед ним оправдывалась.

Дайе подошла ко мне. Складки от сундука так и стояли на рубашке поперёк груди и подола, сон их не разгладил. Дайе остановилась в шаге, и я сама учуяла от себя этот дух, затхлый, от той стены. Ноздри у неё дрогнули. Спать я ложилась при ней в другой, а мои рубашки она знает наперечёт. Сейчас спросит, куда я дела ту. Она ничего не сказала. При Шафране и не скажет, подумала я. Левую руку я держала в рукаве.

— Каменщиков, — сказала она Шафрану. — Сегодня. И сам к Повелителю.

Шафран поклонился и пошёл, хромая в одной туфле. Повелителем Дайе при слугах звала брата. Из-за дождевой воды к султану не посылают, тут хватило бы и каменщиков. Значит, Дайе было что передать ему кроме воды.

Каменщики пришли до полудня, двое. Нас развели по комнатам и закрыли ставни, Шафран стоял на галерее, пока они работали. Я смотрела в щель, но видела только спины и руки в растворе. Анна сидела рядом и шептала, что молодой красивый, только спереди зуба нет. К вечерней молитве дверь заложили снова.

Вечером Дайе пришла со своим тюфяком, скатанным с утра, бросила его снаружи у порога, вошла и подала мне чистую рубашку.

Я переодевалась при ней. Сундучную стянула через голову, левую руку держала в рукаве до последнего, а в новую сунула кулаком вперёд. Дайе смотрела, как я это делаю, и ничего не говорила. Утром, когда врала Шафрану, мне не было так страшно.

Сундучную она взяла у меня из рук, сложила вдвое, потом вчетверо и с ней пошла за дверь стелить тюфяк.

Глава 3

— Повелитель будет к полудню, хатун, — сказал Шафран с галереи. — Велел, чтобы госпожа ждала у себя.

Он только что вернулся от брата. Дайе кивнула ему и вошла ко мне. Я с рассвета сидела на софе одетая, в дневном, левый рукав спущен до пальцев. Кулак под ним я держала на колене второй день. Кисть ныла уже сильнее, чем порез.

— Это он из-за мокрых камней сам едет? — спросила я. — Что ты ему передала, Дайе?

— Что видела, то и передала.

Она стянула с меня покрывало, перевязала убор туже и переколола булавку, которую я утром воткнула криво. Вчера она видела на мне сундучную рубашку и учуяла запах той стены. Видела и как я прятала руку. Про руку я боялась больше всего.

— А что ты видела?

— Пояс, — сказала Дайе.

Я встала. Она обвязала меня шёлковым поясом в два оборота и затянула узел на боку, руки у неё ходили быстро, и левой моей она ни разу не задела. Потом велела служанкам взбить подушки, сама подсыпала углей в жаровню и стояла над ней, пока не занялось. Дождь перестал ещё ночью, ставни открыли, в комнату тянуло мокрой землёй со двора.

Брат пришёл раньше полудня, с одним Шафраном. К моей двери он сразу не пошёл. Прошёл галереей в самый конец, к новой кладке, нагнулся и повёл пальцем по швам, потом ковырнул раствор ногтем и показал Шафрану. Шафран закивал. Если кладка ему не понравится, он велит её разобрать, и в дыру полезут с лампой. У меня вспотела спина. Он выпрямился, отряхнул пальцы и пошёл ко мне.

У порога он скинул туфли.

— Иди, Дайе.

— Поешь потом у меня, — сказала она ему. — Опять небось с утра ничего не ел.

Так с султаном не говорил никто, кроме неё. Дайе вышла и притворила дверь.

— Ну, Мах, — сказал он и сел на софу, подобрав ноги.

Мах по-персидски луна. Так он звал меня с тех пор, как начал писать стихи, а писать он начал лет в десять. У поэтов луной зовут любую, кто хоть немного хороша, поэтому я этому слову никогда особенно не верила, хотя от него слушать любила.

Ресницы у него были длиннее моих, а борода с осени отросла и стала рыжее. Он рассказывал про новый дворец на холме над морем и водил пальцем по ковру, против ворса, так что за пальцем оставалась тёмная полоса.

— Стена пойдёт от Золотого Рога до Мраморного моря. Вот так, — он провёл черту через весь ковёр. — Над воротами поставлю павильон. Сядешь там и смотришь на море, на весь город. Во дворах кипарисы. Тихо будет так, что людей не услышишь.

— А я там где буду сидеть?

— Здесь, — сказал он. — Где днём сидят мои визири, там ни одна женщина ночевать не будет.

Сказал так же, как про кипарисы. Я и сама знала, что моё место в Старом дворце, но от него это слышать было обидно.

Он пригладил ворс ладонью, и черта пропала.

— Позавчера ночью тебе что-нибудь снилось?

— Нет.

Это была правда. Про мои сны он не спрашивал меня ни разу в жизни, даже маленькую.

— Дайе говорит, ты ночью переоделась, — сказал он. — А рубашки, в которой ты легла, нигде нет.

О руке он не сказал ни слова. Я соврала сразу, пока он не спросил ещё чего-нибудь.

— Жарко было. Дайе натопила, я вся вспотела и переоделась. А куда служанки дели ту, откуда мне знать. Унесли стирать, наверное.

— Жарко, — повторил он. — В дождь.

Я кивнула. Он почесал бровь, как в детстве, когда я жульничала в нарды и он это видел.

— Ну, жарко так жарко. Ты у меня умная, Мах. Помнишь зиму, когда умер отец? Ты привела ко мне его жену. Сама, за руку. И ни о чём меня не спросила, ни тогда, ни потом. Другая бы на твоём месте…

Она шла поплакать с ним об отце, как положено вдове, а сама до дрожи боялась нового султана. Рука у неё была горячая и мокрая. Она всю дорогу по переходу сжимала мои пальцы, а мне хотелось вытереть ладонь о платье. Спросить, зачем вести её велели мне, а не евнуху, было можно. Я не спросила. Вскоре её выдали за Исхак-пашу и увезли. Чем кончится его «другая бы», я слушать не хотела.

— Для кого Дайе сушит мои сундуки? — спросила я.

Он не договорил, засмеялся в бороду и подтянул к себе подушку.

— А ты за кого хочешь?

— Не знаю. Хочу увидеть его раньше, чем он увидит меня.

Он хлопнул ладонью по колену, ему понравилось. Мужа мне до свадьбы не покажут, так заведено, и брат знал это лучше меня.

— Послезавтра на Ипподроме мои всадники будут бросать джирид против христианских. Город полупустой, людям нужен праздник. Сядешь за решёткой и смотри на всех, Мах.

— А если выберу?

— Выберешь — скажешь.

Мы оба засмеялись. Сказать я ему могла кого угодно, решать всё равно будет он. И про сундуки он мне так ничего и не ответил.

Он встал, и я встала проводить. У двери он взял меня за левую руку, прямо за кулак в рукаве, поднёс к губам, поцеловал через ткань и прижал ко лбу. Так целуют руку старшим. В детстве это была наша шутка, на прощание: султанский сын кланяется девчонке. Пальцы вдавило в порез, ладонь будто разрезали заново. Я улыбалась. Он подержал мою руку у лба ещё немного, отпустил и вышел на галерею, где Шафран уже ставил ему туфли.

* * *

Дротик попал христианину между лопаток и отскочил, а тот только пригнулся к гриве и погнал дальше. Внизу заорали так, что решётка загудела у меня под пальцами. Дротики были деревянные, без железа, просто палки в руку длиной. Но кидали их с седла на всём скаку, и Дайе ещё утром сказала, что к вечеру у половины этих молодцов головы будут в шишках.

Я сидела на подушке у самой решётки, правой рукой держалась за перекладину, левый кулак лежал в рукаве на колене. Решётка была золочёная, нагретая солнцем, с ячейками в два пальца. Нас снаружи не видели, а нам было видно всё. На деревьях за ареной висели люди, по пять, по шесть на ветке, и один сорвался, когда наши в красных кафтанах погнали христиан к его краю. За деревьями торчал из земли каменный столб, острый, весь в выбитых птицах.

— Сюльтанские опять гонят! — Анна вцепилась в решётку рядом со мной.

Она так и говорила, «сюльтан», «сюльтанские»: «у» по-нашему у неё не выходило, сколько её ни поправляли.

Беи сидели у шатра брата под навесом, в ряд. Я перебирала их по одному: этот молодой, у этого живот на коленях, этот спит с открытым ртом.

— Который из них соколиный?

— Откуда мне знать, госпожа. Я его в лицо не видела. Только от повар слышала.

— А повар видел?

— Повар и сюльтана не видел, госпожа.

— Значит, буду смотреть на всех подряд, раз уж мне так велели, а там разберусь.

Анна прыснула в ладонь. Сзади Дайе сказала:

— Обе — на игру.

Христиане были одеты кто во что, победнее наших. Один из них нагнулся с седла за дротиком, достал его с земли, выпрямился — кафтан натянулся у него на спине. Я узнала плечи раньше лица: на них я в ту ночь, под землёй, смотрела дольше, чем надо. Потом он повернул коня, и я увидела запавшие щёки, бороды нет, чёрные усы ниже подбородка. На солнце, на сером коне, среди людей, он был обыкновенный. Христианин из тех, что брат держит при дворе.

Мне захотелось, чтобы в него попали. Чтобы его сшибли с коня у всего города на глазах, а я бы посмотрела, как он падает.

Тут же, совсем спокойно, я поняла и другое. Одно моё слово брату, и его убьют. «Тебя за это убьют», — сказала я ему тогда внизу. Он ответил: «Знаю». Теперь я знала, кто он. Кому сказать, тоже знала. Я держала это слово во рту и не глотала.

На помост он и головы не повернул. Там, внизу, он смотрел мне в лицо и ниже глаз не опускал. Здесь ему и смотреть было не на что: снаружи помост — одна позолота.

Наш, в красном, погнал на него, кинул и промахнулся. Христианин развернул коня на месте, привстал в стременах и бросил почти в упор. Дротик ударил нашего в грудь, тот откинулся назад и съехал с коня в песок. Под навесом вскочили, я тоже привстала.

— Убил! — Анна схватила меня за рукав, за правый.

— Живой, — сказала Дайе. — На место, Дильруба.

Наш полежал, сел, помотал головой и поднялся сам, крови на нём не было. Кругом орали, а от злости или от радости, я разобрать не могла.

В перерыве по ступеням поднялся брат.

— Поел хоть, Повелитель? — спросила Дайе и отошла к стенке шатра.

— Поел, Дайе.

Анна сползла с подушки на колени. За братом шёл молодой человек. Он остался снаружи, у окошка в решётке, через которое подают.

— Хорошо видно, сестра?

— Видно, Повелитель.

При людях я брата так и звала.

— Христиане у Повелителя проигрывать не умеют, — сказала я. — Вон тот, усатый, чуть не убил человека Повелителя. Кто его учил так бросать?

— Мы и учили. — Брат сел рядом на мою подушку, подвинув меня плечом. — Это Влад. У нас его зовут Дракулой, Драконовым сыном: отца у него прозвали Драконом. Отец отдал его нашему отцу в залог, мальчишкой.

Я сидела, прижавшись лбом к своей ячейке. Влад ехал шагом вдоль края арены и вертел дротик в пальцах.

— Знаешь, как он на меня смотрит? — Брат засмеялся. — Как я на Халила смотрел, когда мне было двенадцать.

Халил-паша был визирем отца. Когда отец посадил брата мальчиком на престол, решал за него всё Халил, а брат сидел рядом и молчал. А после того как мы взяли этот город, брат велел Халила казнить. Значит, этот, на сером коне, убил бы брата, если бы мог. Брат это знал и держал его при себе.

— Зачем же Повелитель такого держит?

— А зачем держат запасной ключ? — Брат постучал пальцем по решётке. — Валахия — дверь. Пока ключ мне нужен, пусть смотрит.

Заложник, подумала я. А ночью стоял у моего порога, на женской половине, куда мужчине ходу нет.

— А это брат его, Раду. — Брат кивнул на окошко. — Тот отцовский, а этот мой.

Брат поднял два пальца, и Раду подал в окошко поднос. На подносе стояли чашки с шербетом, в шербете плавал лёд. Анна оглянулась на Дайе через плечо.

— Дайе-хатюн, можно?

— Бери, Дильруба. Рук не высовывай.

Анна взяла поднос и держала его на коленях, глядя на Раду сквозь решётку. Он был красивый, это видел каждый: Анна, брат и, похоже, он сам. Лицо гладкое, рот мягкий. Меня он не видел, хоть и стоял почти вплотную.

— Повелитель велел подать вам первой, хатун, — сказал он в решётку наугад, мимо моего лица. — Пока лёд не растаял.

Я взяла чашку правой рукой.

— Благодарю.

Дайе шагнула от стенки и дёрнула Анну за рукав. Анна наконец опустила глаза и подала чашку брату. Брат отпил и вытер усы пальцем.

— Ну, сестра. Смотрела на всех?

— На всех.

— И кого выбрала?

— Того, что с шербетом.

Брат засмеялся в чашку и ничего не сказал.

Раду стоял за окошком с пустыми руками, на расстоянии руки от меня, и всё слышал.

Глава 4

— Выбирай, — сказала Дайе и положила мне на колени два мотка шёлка, красный и жёлтый.

Было это через два дня после Ипподрома, до полудня. Дверь на галерею стояла открытая, солнце лежало на полу до самой жаровни, где с утра тлели угли. После разбора сундуков часть моего приданого пришлось менять: что сопрело у сырой стены, что побила моль. Торговку, гречанку Зою, привёл Шафран и остался стоять на галерее. Зоя была немолодая, с чёрными усиками над губой, и по-турецки трещала быстрее самой Дайе.

Шёлк был на простыни, обшивать край. Шили их к свадьбе, а за кого мне идти, решил брат. Мне оставалось выбрать, какого цвета будет край.

— А если я никакой не хочу? — спросила я.

— Тогда я выберу.

Зоя тем временем раскладывала на ковре ленты и говорила без остановки. В одном доме дочь просватали, в другом свекровь побила невестку туфлей, а во дворце, говорят, тоже скоро свадьба.

— Хамза-бей, что у султана соколами ведает, берёт, говорят, жену из дворца, — сказала она. — Сама я его не видела, а люди видели. Руки у него все в рубцах от когтей, до самого локтя. Он и дома птицу с руки не спускает, с ней и ест.

— Ленты, — сказала Дайе. — Про беев — на базаре.

Зоя поджала губы и стала разглаживать ленты.

О Хамзе-бее я слышала второй раз. Первый раз мне шепнула о нём Анна, когда мыла мне голову, только про руки тогда никто ничего не знал. Теперь у жениха появились руки. Я представила, как такая рука ляжет мне на голый живот, вся в буграх, шершавая, как пятка, а на другой его руке будет сидеть птица в колпачке и вертеть головой на каждый мой вздох. Мне захотелось вымыть живот прямо сейчас, при всех.

Анна сидела на корточках возле Зои и перебирала с ней ленты. Говорили они по-гречески, тихо и быстро. Я разобрала «тора[1]» — «сейчас», и ещё одно слово, которого не знала. Дайе их не слушала. По-гречески она понимала только цену да «хорошо» и «плохо», а остальное было для неё как воробьи под навесом.

Анна поднялась и подала мне маленький кошелёк, расшитый бисером.

— Посмотрите, госпожа.

Кошелёк был лёгкий, но внутри что-то хрустнуло. Я сунула туда два пальца и нащупала бумагу, сложенную в тугой квадратик. Дайе стояла в шаге от меня и держала на ладони жёлтый моток.

— Дайе, а красный разве вишнёвый? Он же в рыжину. Стыдно такой на простыню.

Мне было всё равно, какой там красный. Мне надо было, чтобы Дайе повернулась к Зое, и она повернулась.

Правой рукой я вытащила бумагу и затолкала в левый рукав, поглубже, к локтю. Кошелёк бросила на ковёр.

Читать Дайе не умела. Но бумагу из кошелька она отнесла бы брату не разворачивая, и тогда Анну продали бы, а Зою засекли бы во дворе. Испугалась я за них только теперь, до холода в пальцах.

— Темнее есть? — спросила я и подняла с колен красный моток.

— В лавке есть, хатун. Как сливовая кожура. Дней через пять принесу, и ленты к нему подберу.

---

[1] **тора**— «сейчас» (греч.).

— Пойдём. Там посчитаешь.

Дайе вывела её на галерею, к Шафрану, платить и заказывать. Было слышно, как Зоя набивает цену, а Дайе сбивает её по одной монете.

Анна тут же села ко мне на край подушки.

— Это Зое в городе дали, — зашептала она. — В одном доме, где она торгует. Велели сказать: от того, кто подавал шербет. Сама Зоя не знает, что там. Ей только сказали, что для сестры сюльтана.

Я повернулась спиной к двери, вытянула бумагу из рукава и развернула на коленях. Буквы были персидские, ровные, так пишет тот, кого долго учили. Подписи не было. Анна этих букв не читала и ждала. Там было две строчки:

«Луны за решёткой я не увидел, мне достался лишь голос. Лёд в моей чаше растаял, а жажда осталась со мной».

Луной меня звал брат, Мах, и больше никто. Мог Раду услышать это слово от брата? Мог. А мог брат и сам велеть ему написать, чтобы проверить, кого я выбрала на самом деле. Или у поэтов луна — любая, как я всегда и думала. Я перечитала строчки и так и не решила. Если это проверка, я её уже не прошла: бумагу я спрятала от Дайе, а послушная сестра отдала бы ей сама. Я оглянулась на дверь. На галерее Зоя ещё спорила из-за монеты.

Раду был братом того, на сером коне, а того я с Ипподрома не могла выкинуть из головы.

— Что там, госпожа? — Анна протянула палец и тронула край бумаги. — Он это сам писал? Своей рукой?

Анна ждала и пальца с бумаги не убирала.

— Сам, — сказала я. — Пишет, что лёд у него в чаше растаял, а пить всё равно хочется.

— И всё?

— И всё.

Анна убрала палец.

— А брата госпожа спросила? Про моих, куда их увели?

— Случая не было.

Она кивнула, будто другого и не ждала.

Писать в ответ было нельзя. Стихи без подписи ещё можно было выдать за чужую забаву, а бумагу с моими буквами брат узнал бы с первой строчки. Мою руку он знал с детства.

— Скажешь Зое, пусть ему передаст, — сказала я. — Стихи хорошие, только чужие, как у всех поэтов. Чужие я и сама читать умею. Пусть в другой раз скажет своё, если найдёт что.

Анна повторила за мной шёпотом, слово в слово, два раза.

— Я скажу Зоя, госпожа.

— Дильруба! — позвала с галереи Дайе.

Анна вскочила и вышла.

Я прочла обе строчки ещё раз, потом ещё, одними губами, пока не смогла сказать их с закрытыми глазами. Потом положила бумагу на угли и прижала щипцами, чтобы её не подбросило жаром. Край потемнел и занялся. Я держала, пока она не прогорела вся, повесила щипцы на край жаровни и вытерла пальцы о подол.

* * *

Как я села в лодку, я не помнила. Я сидела на корме, на сырой доске, и обеими руками держалась за борта. На мне была кисейная рубашка со дна сундука, та самая, которую служанка мне даже потрогать не дала. Волосы были распущены. Анна каждый вечер заплетала мне на ночь косу, а тут они лежали по спине до пояса, я чувствовала их сквозь кисею.

На дне лодки стояла вода, на палец, холодная. Воды я теперь боялась. Шесть ночей назад я уже тонула под этим городом и помнила, как она лезет в нос и в рот, а дна нет. Я подобрала подол повыше и вцепилась в борта крепче.

Вокруг из чёрной воды рядами поднимались колонны. Анна, выходит, не врала. Там, где я тонула, колонн не было, а здесь они уходили в темноту, сколько хватало огня. Вода стояла почти у самых резных верхушек, над ними сразу начинался кирпичный свод. Встань я в лодке, достала бы до него рукой.

Грёб мужчина. Он сидел посередине лодки, лицом ко мне, а за его спиной на носу горел факел. Свет падал на меня, он же против огня был чёрный, одни плечи и голова. Плечи я узнала раньше, чем успела подумать, кто это может быть.

— Влад, — сказала я.

Имя я знала от брата и третий день держала при себе, а вслух сказала первый раз.

— Фатьма, — ответил он и грёб дальше, ровно, без плеска.

— Тут глубоко?

— Глубоко. Сиди смирно.

Я сидела смирно. Голос был тот же, что тогда внизу, и турецкий тот же, старый, придворный. Тому, что я знаю его имя, он не удивился.

Лодку повело между двух колонн, огонь качнулся вбок, и свет наконец лёг ему на лицо. Лицо было то самое, с Ипподрома, только без решётки и близко.

В ту ночь, у ступеней, он ниже моих глаз не опустил взгляда ни разу. Я следила и ждала. Теперь он оглядел меня всю, не торопясь, сверху вниз: шею, грудь под кисеей, живот, руки на бортах, колени. Потом так же медленно обратно, к лицу. Я сидела на самом свету, деться в лодке было некуда. Рубашку шили на первую ночь с мужем, первым меня в ней должен был увидеть муж. А передо мной сидел он. От стыда у меня горели уши, но прикрываться я не стала. Я хотела, чтобы он смотрел.

— Насмотрелся? — спросила я.

— Нет.

— Это не для тебя шили.

— Знаю.

Грести он при этом не перестал.

— Это сон?

— Да.

— Тогда тебя за это не убьют.

— Здесь не убьют.

— А наяву?

— Наяву — если скажешь брату.

— Может, и скажу.

— Скажи.

Одна колонна прошла у самого борта. Я отпустила правую руку и протянула к ней. Эта была не гладкая, как другие. Над водой её всю покрывала резьба: выпуклые круглые глаза, ряд над рядом, как на павлиньем пере. Камень был мокрый и холодный, глаза под пальцами шершавые. Я вела по ним ладонью, пока колонна не ушла назад, в темноту.

— Зачем ты стоял у моего порога?

— Смотрел, кто тебя стережёт.

— Ну и кто?

— Одна женщина. Спит поперёк двери.

— Дайе хватит на кого угодно.

— На меня — нет.

За Дайе мне стало обидно. Потом приятно: на него её не хватит.

Он сделал ещё несколько гребков и спросил, не поднимая головы:

— Брат спросил тебя на Ипподроме, кого ты выбрала. Ты назвала того, кто подавал шербет. Почему?

— А тебе что за дело? Тебя никто не спрашивал.

— Я спрашиваю сейчас.

Днём я бы соврала. Сказала бы, что Раду красивый, что шербет был со льдом, что брат ждал ответа и надо было назвать хоть кого-нибудь. Здесь врать не хотелось. Я сидела перед ним в одной кисее, так что прятать что-то ещё было глупо.

— Чтобы не назвать тебя.

Он вынул вёсла из воды, положил их вдоль бортов и больше не грёб. Лодка пошла сама, тише и тише, к свету.

Впереди, между колоннами, на воде лежало светлое пятно, с поднос величиной. Свет падал сверху, из круглой дыры в своде, будто там был колодец. Лодка вошла в пятно краем. Снизу, из чёрной воды, к нему поднялась рыба, длинная, с мою руку. Она повернулась боком у самой поверхности и стояла, будто грелась. Мне захотелось потрогать её или сам свет, я не знала, чего больше. Я перегнулась через борт и потянулась рукой.

Лодка легла на бок. Борт ушёл вниз почти до воды, меня потянуло следом, головой вперёд. Я знала, как это будет. Вода в носу, во рту, а взяться не за что.

Он поймал меня за волосы. Не рванул: взял их в кулак у самого затылка и потянул назад, на доску.

— Сиди.

Нас покачало, потом лодка встала ровно. Я сидела, а он держал, хотя держать было уже незачем. Он наклонился ко мне, так что свет из дыры падал теперь на нас обоих. Пальцы у него были тёплые и лежали у меня на шее. Мне хотелось, чтобы он намотал волосы на кулак и подтащил меня к себе.

— Придёшь? — спросил он.

— Куда?

Ни куда, ни когда он не сказал, и кулака не разжал.

— Да, — сказала я.

Утром я лежала у себя в постели, лицом к стене. Сквозь ставни уже шёл серый свет. Сон я помнила весь и не видела в нём ничего странного: колонны я взяла у Анны, лицо — с Ипподрома, а разговаривала с ним всю ночь оттого, что днём мне прислал стихи мужчина и я твердила их наизусть.

Дверь открылась. Анна вошла с кувшином тёплой воды и поставила его у жаровни.

— Госпожа хорошо спала?

Глава 5

— …а я ей с вечера говорю: Лале, ведро подними, крышку задвинь, сколько тебе повторять. А она мне: да, калфа[2], да, калфа. Утром прихожу котёл ставить, крышка сдвинута, ведро внизу на верёвке болтается, верёвка к крюку привязана, всё как положено, а её нет. Башмак у края стоит. Один. Второй я искала, под лавки лазила, к истопнику ходила, а он спит, ничего не видел, он всегда спит. А в каморке вонь, хоть беги. Я с утра рутой окуриваю, а всё одно несёт. Я её ночью за водой не посылала, хатун. Она вечером черпала, на утро, как всегда. А ночью я её не посылала, кого хотите спросите.

Хаджер-калфа, старшая над банщицами, стояла перед Дайе в мокром переднике и рассказывала это уже второй раз, на весь горячий зал. Лале была из её девушек, молоденькая гречанка. За горячим залом была каморка с люком в полу, под люком стояла вода. Лале каждый вечер черпала оттуда ведром в котёл, чтобы утром было что греть.

До этого я скучала. В банный день женщины дворца сидят под куполом с утра до обеда, и ничего не происходит: пар, ковшики, кто кому что сказал. Я сидела в своей нише у мраморной чаши, вода бежала в неё из медного носика. Рукава в бане нет, поэтому левая рука лежала у меня на колене кулаком, как все дни с той ночи.

— Да сбежала она, — сказала женщина с крашеными бровями от соседней чаши. — С водоносом. С греком этим, что нам питьевую воду в дверцу подаёт. Я сама видела: он ей в дверцу шепчет, она ему.

— А он ничего, этот грек, — сказала другая, помоложе. — Плечи вон какие. Я бы тоже пошепталась.

Засмеялись все, даже банщицы, одна Хаджер-калфа стояла и мяла в руках мокрый передник.

— Сбежала, — сказала Дайе. Она сидела на ступени у стены, красная от пара, с полотенцем на плечах, и голоса не повышала. — Искать будут привратники, не вы. А кто ещё про это рот раскроет, пусть потом на себя пеняет. Хаджер, котёл.

Калфа ушла к котлу. Смеяться перестали, и Анна, которая сидела позади меня с гребнем, наклонилась к самому моему уху:

— Лале ночью одна к воде не пошла бы, госпожа. Мы с ней в один год сюда попали, когда город брали. Она и днём в каморка без меня не ходила.

Дверь в каморку оставили открытой, чтобы выветривалось. Сквозь пар и мыло оттуда тянуло стоячей водой и падалью, совсем немного, кто не знал, тот и не разобрал бы. Я знала. Так пахло из пролома в ту ночь, и так пахло от того, в воде, когда он стоял у нижних ступеней ко мне спиной.

Значит, тот, в воде, ходил и здесь, под баней, где мы каждую неделю сидели голые. А слушался он Влада с двух слов, я сама видела.

Серьги на мне были от брата, золотые, с тремя жемчужинами на каждой: он прислал их мне, когда взял город. Я сняла правую, будто она мне мешала, и пальцем затолкала её под край чаши, туда, где мрамор отходил от стены, поглубже. Вечером без дела в пустую баню меня никто не пустит, а за серьгой брата пустят. Люк я должна была увидеть. Под ним шла та же вода, что под моим полом, а во сне Влад спросил «Придёшь?» и не сказал куда. Может, сюда: где ходил тот, в воде, там была дорога и Владу.

— Дильруба, — сказала Дайе. — Простыни, сухие, из холодного зала. И шербет.

— Сейчас, Дайе-хатюн.

---

[2] **калфа**— старшая служанка в гареме, которая надзирает над младшими.

Анна ушла. Вместо неё ко мне подсела банщица с рукавицей. Тёрла она больно, как положено, со спины катилась серая грязь, и я терпела. Потом она взяла меня за левое запястье.

— А тут у госпожи что? — Она засмеялась и потянула кулак к себе. — Золото прячете? Покажите, я никому не скажу.

— Не трогай.

Я дёрнула руку. Банщица не отпустила, ей было весело, а женщина с крашеными бровями уже тянула шею от своей чаши.

— Сама, — сказала Дайе.

Она встала со ступени, забрала у банщицы рукавицу и села на её место. Банщица отошла. Дайе мыла меня сама, как мыла лет до девяти: шею, за ушами, плечи, крепко и не спрашивая. Потом положила мою левую руку себе на колено и стала большими пальцами разжимать мне пальцы, по одному. Вырвать руку я могла. Тогда вся баня увидела бы, как сестра султана дерётся с Дайе из-за кулака, и на ладонь стали бы смотреть уже все.

Пальцы затекли и разошлись легко. Через ладонь, от мизинца наискось, шла тонкая ровная полоса, розовая. Корки на ней не было. Я смотрела на неё каждый вечер и знала, что она закрывается быстро, но тут, при свете из купола, она выглядела так, будто ей месяц. Я опять подумала про горячий рот Влада на этой ладони, там, на ступенях. Хаким так не лечил.

Дайе потёрла полосу большим пальцем, сильно, как будто она смоется.

— Старый, — сказала я. — Ещё в Эдирне порезалась.

— Не было у тебя такого. — Головы она не подняла. — Я твои руки знаю, сколько ты на свете живёшь.

Свободной рукой она загибала пальцы у себя на колене и шевелила губами.

— Восемь дней, — сказала она. — С той ночи, как стену проломило.

Порезов на мне она за жизнь видела много и ни разу из-за них не бледнела. Тут побледнела так, что было видно даже в пару.

— Что это у госпожи с рукой? — спросила та, с крашеными бровями.

— Обожглась, — сказала Дайе. — О жаровню. Полезла угли поправлять без щипцов, вот и получила.

Она сказала это так спокойно, что я сама чуть не вспомнила жаровню. Дайе меня прятала. От них или от брата, я не знала.

В холодном зале все сидели уже в льняных сорочках, распаренные, и ели. Дайе развела в чашке хну[3], густо, и намазала мне всю левую ладонь толстым слоем, до самых пальцев. Рубца под хной не стало видно. Сверху она положила тряпицу.

— К свадьбе всё равно красить, — сказала она и, уже затягивая узел, спросила: — Что тебе снится?

— Ничего.

Лодку, колонны и кулак Влада у меня в волосах я помнила целиком. О снах меня уже спрашивал брат. Тогда я сказала «нет», и это была правда.

— Ну и слава Аллаху, — сказала Дайе и затянула узел так, что пальцы под тряпицей начали неметь.

Потом она села рядом со мной и взялась за халву. При ней никто бы не полез смотреть, что у меня под тряпицей. Женщина с крашеными бровями опять рассказывала про водоноса, какие у него плечи и что на один глаз он кривой. Молодая говорила, что ей и кривой сгодится. Банщица ходила между ними с кувшином айрана[4]и подливала всем, кто протягивал чашку.

---

[3] **хна**— рыжая краска из толчёных листьев кустарника. Ею красят волосы, ладони и ступни, а невесте перед свадьбой, в «ночь хны», натирают хной ладони и пальцы.

[4] **айран**— кислое молоко, разбавленное водой, с солью: простое прохладное питьё турок.

* * *

— Серьгу я в бане оставила, — сказала я Шафрану. — Правую, ту, что брат прислал, когда взял город. До утра банщицы подберут. Одна у них уже сбежала, сбежит и вторая, с моим жемчугом.

Шафран посмотрел на моё правое ухо. Мочка была голая, на левой висели три жемчужины, спорить тут было не о чем. Дайе с обеда ушла к воротам, говорить с привратниками о беглой. Спросить разрешения ему было не у кого, отказать мне сам он не смел. Он поклонился и пошёл за светильником. Одну меня он всё равно не повёл бы, это я знала, поэтому сама крикнула Анну, пока он не позвал кого-нибудь поглазастее.

Через двор я шла за его спиной и кусала щёку изнутри, чтобы не засмеяться. Утром я пальцем затолкала серьгу под чашу, а к вечеру евнух сам вёл меня в пустую баню и на ходу оглядывался, не очень ли госпожа расстроена.

У двери бани он зажёг от своего второй светильник и подал мне. Анна несла свой.

— Я здесь, госпожа, у двери. Госпожа пусть крикнет, если что.

Дальше он не пошёл.

Баня была пустая. Камень ещё не остыл, тепло шло от стен и от пола, с купола капало, и капли щёлкали по мрамору то здесь, то там. Пахло мылом и мокрым деревом. Круглые окошки в куполе посерели, свет из них до пола уже не доставал. Анна остановилась на пороге горячего зала и прижала светильник к груди, огонь подсвечивал ей подбородок.

— Она тут ещё вчера ходила, госпожа, — шёпотом сказала Анна. — С ведро, вон в тот котёл.

— Ищи у чаши, где я сидела, — сказала я. — Под краем, у стены, там мрамор отходит. Пошарь рукой. А я посмотрю у котла.

Утешать её я не стала: утешенная, она вцепилась бы мне в рукав и пошла за мной. Анна постояла ещё немного и двинулась вдоль стены к моей нише, её огонь поплыл по мокрому камню.

Дверь в каморку за горячим залом к вечеру прикрыли. Я толкнула её плечом, вошла и закрыла за собой спиной. Пахло рутой, которой калфа окуривала с утра, а под рутой тем же, что утром тянуло из открытой двери. Ведро стояло у стены, верёвку смотали и повесили на крюк. Люк был посреди пола, квадратный, с деревянной крышкой, тёмной от сырости, и с железным кольцом.

Я поставила светильник на пол и взялась за кольцо правой рукой. Крышка не пошла. Я упёрлась коленом в камень, потянула ещё раз, и она поднялась на ладонь и сразу потащила меня обратно вниз, такая была тяжёлая. Левая рука под тряпицей сама сжалась в кулак, будто тоже тянула. Я перехватила кольцо, подставила под край плечо и откинула крышку к стене, придержав в последний миг, чтобы не грохнула.

— Госпожа! — позвала Анна из зала. — Вы где?

— У котла, — сказала я. — Ищи.

Под люком уходили вниз три каменные ступени, может, четыре, все в зелёной слизи. Сразу под последней стояла вода. Я встала на колени у края, взяла светильник и опустила его в люк, сколько пускала рука. Огонь лёг на слизь и на воду, чёрную и такую гладкую, что в ней отразился. На нижней ступени, у самой воды, лежал башмак. Банный, деревянный, на высокой подставке, в каких банщицы ходят по мокрому полу, чтобы не поскользнуться. Калфа утром нашла у края первый башмак. В люк она не светила и второго не увидела.

Лале ушла не через стену с водоносом. Она ушла сюда, в воду.

Огонь у меня в руке задрожал, и тени на ступенях задрожали с ним. Вода не шевелилась. Восемь дней назад такая же вода стояла тихо до той самой минуты, когда меня утащили под

неё. Если он сейчас там, под этой гладью, ему хватит одной руки на моём запястье. Анна у чаши, Шафран за двумя дверями, никто ничего не услышит, а утром калфа найдёт у края светильник. Я отодвинула колени от люка. Потом опустила светильник на камень у самого края, легла левым локтем на камень, чтобы не трогать завязанную ладонь, и сунула вниз правую руку.

До нижней ступени я достала с трудом, вытянувшись так, что заныло плечо. Пальцы прошли по слизи, задели воду, ледяную, хуже колодезной, и нащупали дерево. Башмак был мокрый и холодный, ремешок на нём осклиз и выскальзывал. Я сжала его сильнее и потянула наверх.

— Нашла! — крикнула Анна из зала. — Госпожа, нашла!

Её свет качнулся и пошёл через горячий зал ко мне, щель под дверью стала светлеть.

Башмак был у меня в руке, над самой водой. Покажи я его, завтра в этот люк полезут люди с баграми и факелами. Найдут того, в воде, а от него выйдут на того, кто им командует, на Влада. А я Владу обещала прийти.

Я бросила башмак в воду.

Деревянные ковшики в бане не тонут, в детстве я их топила и не могла утопить. Башмак ушёл вниз сразу, весь, будто его снизу взяли и потянули. По воде прошёл один круг, и стало опять гладко.

Я схватила кольцо. Крышка пошла вниз сама, своей тяжестью, рванула мне руку, пальцы я выдернула в последний миг. Стукнуло глухо, на всю каморку. Светлая полоса под дверью стала шире, дверь качнулась, и огонь Анны лёг на крышку, на мои колени и на правую руку, с которой ещё капало на камень.

Глава 6

Утром Шафран пришёл на галерею к моей двери и при мне доложил Дайе:

— Вчера вечером, хатун, госпожу в баню водил. За серьгой. Сам у двери стоял, внутрь не входил.

Дайе сняла туфлю и ударила его подошвой по щеке, один раз, без замаха. Шафран не закрылся и не отступил. Он был на голову выше её, седой. Так и стоял, опустив руки, пока она обувалась обратно, держась за его же рукав.

— Это я велела, — сказала я с порога. — Он идти не хотел.

Дайе ко мне даже не обернулась.

— Серьги. Обе.

Обе были на мне. Правую Анна нашла вчера и отдала мне ещё во дворе бани, вечером я её надела. Замок у неё был тугой, я дёргала его, пока не заболела мочка.

— Живее, — сказала Дайе. Она ждала с открытой ладонью. Я положила в неё серьги, золото и шесть жемчужин, она зажала их в кулаке и сунула за пояс.

— Брату отдам.

— Он их мне прислал, Дайе. Не тебе.

— Вот ему и отдам.

Анна стояла у стены с кувшином. Дайе шагнула к ней и встала между нами, спиной ко мне.

— Дильруба. Серьгу кто нашёл?

— Я, хатюн. Под чашей, у стены.

— А госпожа где была?

Я открыла рот, и Дайе, не оборачиваясь, подняла ко мне ладонь. Через её плечо мне было видно Аннино лицо. Анна перехватила кувшин поудобнее.

— У котла, хатун. Тоже искала.

Врала она ровнее, чем умела я, и даже «хатун» выговорила чисто. Я отпустила косяк, за который, оказывается, держалась.

— Шафран, — сказала Дайе. — К Хаджер-калфе. Люк в каморке — на замок, ключ — мне. Воду в котёл — только от водоноса, через дверцу. Из люка больше ни ведра.

— Слушаю, хатун.

Только теперь она ко мне обернулась.

— А ты к воде без меня ни шагу.

— Мыться мне тоже с тобой?

— И мыться.

Шафран поклонился мне так же низко, как кланялся всегда, и пошёл к калфе.

Вечером Дайе сама принесла тюфяк, бросила его за дверью поперёк порога, ногами к старому крылу, села на него. Анна стояла у меня за спиной и плела косу.

— Как брат придёт, спрошу про твоих, — сказала я. — В тот же день.

— Госпожа и в тот раз так говорила, когда сундуки разбирали. — Пальцы у неё шли по прядям так же быстро, как до моих слов. — А потом сюльтан сам к госпоже приходил.

— Тогда не спросила. Теперь спрошу.

— Хорошо, госпожа. Держите голова ровно.

Прядь она потянула сильнее, чем было нужно. Из-за двери Дайе позвала:

— Дильруба.

Анна завязала косу и ушла, перешагнув через тюфяк сбоку от Дайе. Пока дверь была открыта, я видела Дайе: она сидела лицом к двору, прямая, с чётками в руке, и ложиться не собиралась.

Дверь закрылась. Я задула лампу. Дайе читала. Книги у неё не было, грамоте Дайе не знала. Молитвы она помнила наизусть: аят аль-Курси, короткие суры, потом опять аят. Я лежала в темноте и слушала её до утра. Тюфяк за дверью ни разу не зашуршал.

Под утро она сбилась на середине аята, замолчала и начала его снова, с первого слова.

* * *

В ставень стукнули два раза, со стороны старого крыла. Я не спала: днём выспалась. Дайе прошлую ночь просидела с чётками и теперь храпела за дверью с присвистом. За одиннадцать лет у моего порога я такого ни разу не слышала.

— Фатьма, — сказали в щель.

Это был голос Влада.

Я натянула кафтан на рубашку, сунула ноги в туфли, а покрывало забыла. Дайе я переступила со стороны ног: у головы услышит, сказал он мне тогда, у ступеней. Храп не сбился. Влад без огня повёл меня в сад за старым крылом, к заколоченному колодцу. Он ушёл вниз первым, на дне загорелся факел. Я полезла по скобам сама, на этот огонь, коса болталась за спиной. С последних скоб меня сняли его руки, прямо в лодку.

Вода шла под уклон и несла нас, Влад только правил одним веслом. Я сидела на корме, на свету, он лицом ко мне, против огня, так что лица было не разглядеть. Кирпич над головой тянулся долго и так низко, что я пригибалась.

— Далеко ещё? — спросила я.

— Недалеко. Обратно будет дольше: обратно мне грести против воды.

Потом свод ушёл вверх, стены разошлись, и из чёрной воды встали колонны, ряд за рядом, сколько доставал огонь. Вода стояла у самых их верхов, а выше свод шёл низкими кирпичными чашками[5]. Всё было как во сне. Значит, сон сказал правду. Я сама ушла от Дайе, сама спустилась под землю и сидела теперь здесь на самом деле, в туфлях и кафтане, и улыбалась так, что болели щёки. Из темноты тянуло гнилой стоячей водой.

— Над нами Айя-София[6], — сказал Влад. — Наверху весь город спит и не знает, что у него под полом.

— А ты знаешь.

— Я знаю. Теперь и ты.

— А если закричать?

— Услышит кто-нибудь в своём подвале, перекрестится и решит, что почудилось.

Он положил весло вдоль борта, взял мою левую руку и повернул ладонью к огню. Пальцы у него были тёплые. Тряпицы на ладони уже не было, ладонь была рыжая от пальцев до запястья. Рубец под хной я и сама нашла бы не сразу. Большой палец Влада лёг как раз на него.

— Кто красил?

— Дайе.

— Сама?

— А кому ещё? Сказала, к свадьбе всё равно красить.

Он больше ничего не спросил. Хну он уже рассмотрел, а руку всё держал, и палец так и лежал на рубце.

— Меня всё к свадьбе, — сказала я. Под сводом вышло громче, чем я хотела. — Красят к свадьбе, моют к свадьбе, шесть сундуков простынь и рубашек нашили, каждую нитку на свет

---

[5] Свод из рядов невысоких кирпичных куполов над колоннами, как в Базиликовой цистерне — огромном подземном водохранилище Константинополя.

[6] **Айя-София**— «Святая Премудрость» (греч.), главный храм Константинополя. В день взятия города Мехмед въехал в неё и сделал её мечетью.

смотрят, а за кого мне идти, решил брат, и узнала я об этом от кухни. Гриву чешут, как кобыле перед базаром.

— Ты не то, что тебе сказали.

— А что?

Он отпустил мою руку и взялся за весло. Я ждала ответа. Он повернул лодку туда, где между колоннами желтела вода.

Наверху у кого-то горела лампа, свет от неё шёл через круглую дыру в своде. Лодка вошла в него кормой, где сидела я, а дыра оказалась сбоку, над водой, в шаге от борта. Там из черноты всплыла рыба, серая, с тёмной спиной. Встала под самой водой боком ко мне, у неё ходили жабры. На миг я забыла, что жду ответа.

Лампа наверху качнулась. В дыру свесились голова и плечи, а за ними рука с лампой. Бородатый мужчина в одной рубахе смотрел вниз, прямо на меня. Я сидела на самом свету, с непокрытой головой, коса через плечо. Влада за факелом ему было не разглядеть.

— Панагия, — выдохнул бородатый и быстро, хрипло сказал ещё что-то по-гречески.

Поняла я из всего одно слово, Анна его вечно повторяла: Матерь Божья. Этот человек видел моё лицо.

Влад встал и шагнул ко мне. Лодку качнуло, я схватилась правой рукой за колонну у борта. Свод здесь был так низко, что до дыры Влад дотянулся, не поднимаясь на носки. Он взял грека за волосы, намотал их на кулак и рванул вниз. Тот вывалился из дыры весь, плечами вперёд, и ушёл в воду у самого борта. Лампа упала за ним, зашипела и погасла. Пятна не стало, остался наш факел.

Влад нагнулся над бортом, расставив ноги, и держал. Я смотрела на кулак. Над водой был он один, а из-под него по воде расходились чужие волосы. Под ним билось, вода хлестала о борт и летела мне в лицо и на руки. Пальцы правой руки съезжали по мокрому камню, цеплялись за какие-то круги. Левой я зажала себе рот. Затылок у меня ныл, там, где начинается коса, как в ту ночь, когда меня за неё тащили из воды. Держал Влад спокойно, без натуги, как держат ведро в колодце, пока наберётся. Ладонь, которой я зажимала рот, была ещё тёплая от его пальцев, и я её не отнимала.

Когда под кулаком перестало биться, он подержал ещё. Потом разжал руку, взял тело за ворот рубахи и толкнул от себя, в темноту между колоннами, куда не доставал факел. Оно ушло туда спиной вверх, медленно, и пропало. Влад сел напротив меня, вытер руку о колено и взял вёсла.

* * *

Обратно Влад грёб двумя вёслами. Вода шла навстречу, и за гребок лодка продвигалась на длину руки, не больше. Он заносил вёсла, наваливался всем телом и тянул, дышал ртом, громко. С лопастей лилось обратно в воду. Правый рукав у него был тёмный и мокрый до самого плеча. Лица я не видела: факел горел на носу, у него за спиной.

Меня трясло мелко, всю, хотя брызги на лице давно высохли. Зубы стучали. Я сжала их, они стучали всё равно.

Заговорила я уже в водоводе, под низким кирпичным сводом.

— Зачем?

Грести он не перестал. Отвечал между гребками.

— Он принял тебя за Панагию. Сказал: «Пресвятая, ты пришла к моей воде, не уходи, я разбужу детей». Воду, у которой явилась Богородица, греки считают святой. Услышь он только голос из-под пола, к утру сам списал бы на сон. Богородицу — нет. Её он пошёл бы показывать. К рассвету в его подвале стоял бы весь квартал со свечами, а к вечеру кто-нибудь спустился бы на верёвке посмотреть, откуда она пришла. Внизу лодка и дорога к твоему колодцу. Меня

бы за это казнили. А с тобой сделали бы то, что делают с женщинами, которых нашли ночью с мужчиной. Ты знаешь, что с ними делают.

Я знала. Таких зашивают в мешок и бросают в Босфор, в гареме об этом шептались. Он вынул вёсла из воды, перевёл дух и опустил их снова.

— А так утром родные увидят открытую дыру и решат, что он свалился сам.

Течение тут было сильнее, чем в зале. Лодку сносило на стену, Влад выправлял её одним веслом и опять тянул двумя.

— А девушка, что пропала из бани? Тоже ты?

— Не я.

Ответил он сразу, на том же гребке. Зубы у меня больше не стучали. Я повернулась боком и стала смотреть, как вода бежит вдоль борта туда, откуда мы ушли.

— Дайе встаёт к утренней молитве, — сказала я.

Он стал грести чаще.

У колодца он поставил лодку под самые скобы, сложил вёсла и встал. Я встала тоже, лицом к стене. Он взял меня за пояс, поднял и держал на весу, пока я не ухватилась за скобу и не нашла ногой нижнюю. Ладони у него после вёсел были горячие, я чувствовала их сквозь кафтан и рубашку. Он их не убирал. Я держалась за скобу и выше не лезла.

— Соседи теперь долго будут искать его в воде под тем домом, — сказал он мне в спину. — С огнями, с крючьями, сверху. Через четыре недели Хыдырэллез[7]. Весь город уйдёт за стены встречать лето, женщин из твоего дворца до ночи продержат в саду, и никто не будет считать, кто где. В ночь Хыдырэллеза я буду здесь.

[7] **Хыдырэллез**— весенний праздник цветов и зелени в начале мая, день Хызыра и Ильяса. Горожане уходят за стены на траву, женщины проводят день в садах с цветами в волосах.

Глава 7

В ту ночь я поднялась по скобам и переступила через ноги Дайе. Храп у неё не сбился, и до утренней молитвы я успела лечь.

Потом четыре недели шли одна как другая. В баню Дайе водила меня сама и садилась рядом на тёплый камень, будто я могла уплыть в сток вместе с мыльной водой. Левую руку банщицам она не давала, тёрла сама. Хна за эти бани сошла. На ладони осталась тонкая белая полоса, гладкая, без корки. Брат не приходил ни разу, так что спросить про Анниных родных было не у кого. Зоя была один раз, с шёлком как сливовая кожура, полдня шепталась с Анной по-гречески и унесла мой ответ на стихи Раду. А я считала дни до Хыдырэллеза.

Утром на Хыдырэллез Зоя пришла опять, с лентами, которые Дайе заказала у неё в тот раз. Из сада было слышно, как калфы гоняют девушек, кто-то уже пел. Анна сид

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.